

Елена МОРДОВИНА

Баланс белого



Елена Владимировна Мордовина

Баланс белого

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63867681
Баланс белого: Алетейя; Санкт-Петербург; 2021
ISBN 978-5-00165-213-7*

Аннотация

Девушка оказывается в палате психиатрической больницы. Она не может вспомнить, как сюда попала и что случилось по дороге в Питер, куда она поехала автостопом вместе со своим приятелем. Или это путешествие ей пригрезилось? Ее друзья начинают расследование и выясняют, что кое-что все-таки произошло.

Не для любителей позитивного чтения.

Содержание

I	5
II	19
III	30
IV	34
V	52
VI	56
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Елена Мордовина

Баланс белого

© Е. В. Мордовина, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

I

Считается, что с пациентами психбольницы должны активно общаться врачи. Как во всех этих фильмах – задушевные беседы, попытки понять, что же произошло. Пока не видела ни одного. Впрочем, когда меня принимали, наверное, был дежурный врач. Какие-то люди точно были. Мне казался нелепым этот арест – в темноте ночи – везде война, так мне чудилось, сплошная война и ночь, и две огромные звериные туши, которые зачем-то держат меня здесь. Меня охватывал животный страх от осознания могучей силы, воплотившейся в этих тушах.

Мигал огонек серого прибора, похожего на трансформатор старого советского телевизора. Сонный человек задавал вопросы. Санитары выворачивали руки, чтобы найти возможные следы уколов на моих венах. Затем сами что-то вкололи и привязали к кровати в мертвецкой. Во всяком случае, первая палата в ту ночь показалась мне мертвецкой. На кроватях лежали трупы. Вряд ли санитарам удалось меня там оставить, если бы они меня не привязали. Скрутили руки полотенцами, сдавили живот длинной тканью. Четко и быстро. Пошевелиться не было никакой возможности.

От первой палаты всегда веет холодом – мне так до сих пор и кажется, что там мертвецкая. Не люблю ходить мимо нее в столовую.

Сейчас меня перевели в палату. Здесь пациенты спокойнее. Процедуры сделаны, и, как мне сказали, можно спать. Я читаю. Самое главное здесь – не спать, когда от тебя этого хотят. Еще важно пережить ночь, как в «Вие». С утра только об одном и думаешь – все живы, главное, я. Стараюсь не пить циклодол. Если уж не отделаться от уколов, то хотя бы таблетки можно быстро толкнуть языком за десны, а после выплюнуть.

На подоконнике засушенные травы. Пациентки налаживают быт. Стараются казаться нормальными. Так медленно тянется время под скрип ворот за окном, шорох тапочек и шелест газет. Между деревьями качаются мокрые белые простыни. Солнце настолько яркое, что блики на листьях кри-вых яблонек кажутся весенними цветами.

Стены метровой толщины. Сводчатые потолки коридоров. Мрачные картины – подарки бывших пациентов. Когда Врубель расписывал Кирилловскую церковь, ему позировали пациенты этой больницы. Интересно, он приходил прямо сюда или их выпускали? Это старый корпус. Может быть, здесь он их и рисовал, в комнате для свиданий.

Меня сегодня отведут туда в пять. Лере позвонили. Насколько можно понять, на первом допросе я дала им ее телефон. Несмотря на то, что в том состоянии я с трудом могла вспомнить свое собственное имя.

Солнечная полоса ползет по выбеленному простенку. Сейчас четыре часа дня. Когда граница света и тени станет

ровно по центру, будет пять, а после свет уползет в угол комнаты, и мир начнет погружаться в сумерки.

Комнату для свиданий я тоже помню с той ночи. Она казалась просто клетью, жуткой светящейся клетью посреди войны и бесконечного мрака.

Теперь здесь вполне комфортно. Гудит маленький холодильник. Зейберман сидит у окна с каким-то парнем. Кроме них в комнате две мрачные женщины, они о чем-то перешептываются в углу.

– Привет! – я смущенно улыбаюсь.

Лерка лезет целоваться. Томная, заспанная, надушенная бабушкиным «Ноктюрном».

– Я, конечно, многого от тебя ожидала, – она цокает языком и кивает на своего приятеля. – Это Женя. Из аспирантуры.

– Ты тоже даром времени не теряла...

– Ничего личного! Он помогает мне с отчетом по практике.

Леру Зейберман я не могла напугать своей выходкой. Это была очень смелая девушка, по крайней мере, в своих внешних проявлениях. Я обратила на нее внимание сразу же на первой лекции. Сидела с ней рядом и не стеснялась ее разглядывать.

Ее четко очерченный рот и нос с изящной горбинкой, с

которого она постоянно смахивала пряди черных, как смоль, волос. Их индиговые отливы в точности, казалось, повторяли прихотливый изгиб губ, достойный избранниц самого Соломона. Красное платье словно обволакивало ее точеную фигуру, и вся она будто сочилась той истинной женственностью, которая не дана мне. Женственностью, которую актер театра кабуки оттачивает десятилетиями. Ей же она была присуща с рождения.

При этом женственность ее была исключительно интимной, не вырывалась наружу, но манила к себе, таинственная и трепещущая, как огонь субботней свечи. Единственное, что выдавало ее девичью глупость – тату-колибри в круге декольте, над правой грудью, и два массивных серебряных кольца – в мочке уха и под самой дужкой – соединенные цепочкой, которая вечно путалась со смолистым витым локоном.

В конце сентября мы незаметно сдружились. Был День памяти Бабьего яра. Студенты всех факультетов собирались возле мотозавода и пешим ходом тянулись к парку. Моросил дождь, мы с Леркой плелись в хвосте процессии. Ворошили ногами мокрые листья, потом бродили вокруг оврагов по усыпанным красным песком дорожкам. Поникшие стебли дельфиниумов мерзли в белых гипсовых вазонах. О чем-то говорил раввин в громкоговоритель, за ним – наш ректор. По мокрым багровым ягодам барбариса, похожим на сгустки

крови, ползли дождевые капли. После мы пили кофе прямо на улице из теплых полистироловых стаканчиков. Телевышка не было видно из-за утреннего тумана.

Она что-то спрашивает. Я смотрю на след от помады на ее зубах.

– Во что ты одета? Тебе одежду привезти?

– Здесь всем такое выдают. Которых не родственники привозят.

– Ты позвонишь маме?

Сегодня на ней джинсы и борцовская маечка, а ее роскошные волосы стянуты резинкой. Сидит, разложившись в кресле, разбросав по нему свои части, как разобранный кукла, причем нога ее, переломленная через подлокотник, ритмично покачивается. Кажется, ее поза несколько смущает мрачных женщин в углу.

– Как я ей позвоню? В рельсу? У меня нет ее телефона. Сменила там уже третьего мужа. Если только сама соизволит позвонить, раз в полгода, как всегда, пригласит на каникулы. Электронной почтой она, кажется, не пользуется. Во всяком случае, мне об этом ничего неизвестно.

Честно говоря, отец настоял на моем поступлении в еврейский университет (нужно отметить его благородство,

другой бы на его месте стал ярым антисемитом), чтобы после второго курса я могла перевестись в Хайфу и быть ближе к маме. Мама оставила нас четыре года назад, когда уехала в Израиль с дантистом Шульманом. Вышла за него замуж. Я наотрез отказалась ехать с ней, да оно и к лучшему. Меня просто тошнит от «Царя Давида» трехлетней выдержки и липких конфет, которые она присылает мне к Песаху. Эти университетские футболки, и пластиковые трещотки на Пурим, и скучные фотографии, похожие на тиражированные открытки. В последней бандероли она прислала конфеты «Малыш Рут». Малыш Рут – это известный бейсболист американский, а она, наверное, подумала, что это «Крошка Руфь» и в этом есть что-то библейское. Мерзкие липкие конфеты. This baby'll get you going!

– Я сначала думала, что опять наркотики... ну, когда позвонили и сообщили, откуда. Но врач сказал, никаких наркотиков. Тогда я совсем ничего не понимаю. Женька должен понимать. Он у Скока кандидатскую пишет.

– У Скока? Круто! – я с трудом соображаю. Говорить пока тоже не очень получается.

– Да, но моя специализация – нервно-мышечная физиология, – аспирант оправдывается перед Леркой, как будто они уже много лет женаты.

– Круто! Это все, что ты можешь сказать? – она выжидательно смотрит на меня.

Я отвожу взгляд. Наблюдаю, как старуха за окном разбивает каблуком грецкий орех.

– А они что, не брали никаких анализов? Ничего? Вот так спросили и все?

– Вот так спросили и все... Представь себе. И сгибы локтей проверили. На всякий случай.

– Да! – повторила она задумчиво. – И как мы из этого будем выбираться?

– Выпустят. Я же не больная, в конце концов.

Яркий луч солнца дополз до угла, где сидят мрачные женщины. Я и не заметила, как к ним присоединилась девушка из соседней палаты, на которую всегда жутко смотреть. В ней есть что-то от хлебниковской Мавы и гоголевской панночки. Полная, кареглазая, в черном спортивном костюме. Сейчас, положив руки на тетрадь, она медленно произносит: «Я навсегда отрекаюсь от своих стихов». Женщины крестятся и шепчут.

Лерка тоже на нее смотрит.

– Да тут неделю посидеть – любой человек больным делается. А такая дура, как ты...

Я слабо запротестовала.

– Как тебя еще назвать? И эти тоже. Конец двадцатого века, а они на наркотики проверяют – смотрят следы от уколов в сгибе локтя. Вот уроды!

– Лер, тише. Нас в следующий раз сюда не пустят.

Аспирант придвинулся ко мне:

– Тебе надо вспомнить все подробно. Во всех деталях. С самого начала, с того момента, что ты отчетливо помнишь.

– Да, понять это сложно, – Лера закатила глаза под потолок. – Мы сейчас пойдем уже. Что тебе в следующий раз принести?

– Что-нибудь почитать. Коэна принесите... «Любимую игру» я читала. Можете найти что-нибудь другое?

– Жень, запоминай. Леонард Коэн. Все, кроме «Любимой игры».

В самом начала лета, истощенная одиночеством, голодом (остался только мате, рис и пачка лаврового листа), ночными грозами и бдением над мокрым, залитым светом прожекторов плацем, я потащилась к Зейберман. Я уже несколько дней не ела хлеба, и силы почти покинули меня, пока я дошла к ее дому через дюжину кварталов, по несусветной жаре. Пробираясь в ее комнату, я столкнулась с абсолютно голой старухой, которая брела через коридор из комнаты в кухню.

– Я же сказала, бабушка, не ходи голой по всей квартире, это неприлично – у нас гости, в конце концов, – Лера орала так, что, казалось, сейчас зазвенят стекла.

– Перестань кричать, деточка, бабушке жарко, бабушка не может ходить вечно одетой в такую жару. Проходите, Сашенька, проходите. Мне стыдно перед людьми, Лера – что

они могут о нас подумать – ты так кричишь на бабушку. Сашенька, вы сегодня кушали?

Ее мама была славной женщиной – она всегда помнила обо всех подробностях моей жизни и всегда задавала очень нужные вопросы.

– А что вы сегодня кушали? – она уставилась на меня своими внимательными круглыми глазами.

Соврать было невозможно.

– Давайте я принесу вам супчик.

Буквально за два дня до того я читала об этом у Коэна: «А что вы сегодня кушали?» Все еврейские мамы одинаковые – и всегда задают одни и те же вопросы. Я улеглась на Леркиной тахте, застеленной клетчатым одеялом, и растворялась в их голосах, в этом невообразимом количестве мебели, которую, кажется, здесь никогда не выбрасывали (в небольшой комнате скопилось уже три кровати, а лишние стулья были сложены на шкафу), в стенах и дверях, обитых коврами, задрапированных занавесками. Прямо на коврах висели фотографии Лериной мамы в студенческие годы – плотная волевая девушка с крупным носом и в таких же очках, что и сейчас. Они сидели с подружкой, склонив друг к другу головы – сильные послевоенные комсомолки с мясистыми телами и крепкой психикой.

Завидую тому, от чего всегда убегала – всегда хотела быть сублильной психопаткой.

Пока мы обедали, Лерина мама все расспрашивала, как

я справляюсь без папы, и говорила, что мне теперь нужно быть благоразумной деткой. Потом она переделалась в платье и пришла снова:

– Как вы думаете, Сашенька, мне стоит укоротить это платье, а то оно кажется мне очень длинным?

Я отвечала ей радостно и как-то необычайно живо.

– Вы действительно так думаете?

– Мама, уйди отсюда вон! Дай нам поесть, наконец!

Мама обиделась и ушла. И больше не показывалась. А после, когда Лера относила посуду, я слышала, как они громко препирались в коридоре.

– Зачем, спрашивается, надо было топить этих котят? Мешали они тебе? И почему в ведре, где я мою пол?

Ко мне ласкалась Нюська, которая снова была готова забеременеть. Я сбросила ее с колен.

За Лерой заехал приятель, и они отвезли меня домой.

Теперь Лера смотрела на меня и ждала, когда я назову что-нибудь еще.

– Хорошо. Еды какой-то принести?

– Сок... Мне здесь ничего не хочется, кроме сока. Я вас не очень напрягаю?

– Буткеева, ты офигела, такие вопросы задавать? Ключи от дома у тебя?

– Сдала коменданту перед отъездом.

– А он нас пустит? Давай, ты записку напишешь? Надо ж тебе какую-то одежду?

– Вряд ли. Вас даже на КПП не пустят. Если только через забор. Там, не доходя до КПП, за гаражами есть место, где можно через забор перелезть.

Тем зимним вечером, когда мы расстались с Богданом, я возвращалась, едва передвигая ноги, у меня требовал пропуск солдат с плохо залеченной заячьей губой. Не верил, что я его забыла. Не верил, что я здесь живу. Мне нечего было ему ответить. Почему я пытаюсь проникнуть ночью на территорию? Что я могла ему объяснить?

Что мы до ночи стояли у кассы кинотеатра и смотрели друг другу в глаза – ненужные и пустые?

Игра окончена. Очередная игра, которая для него игра, для меня – жизнь. Очередной офсайд. Улица курилась дымом, вспыхивающим вместе с неоновыми буквами красным и синим цветом, хлопали дверцы подъезжавших автомобилей, о чем-то долго говорила блондинка, прижав телефон к боковому фасаду огромной пышной прически, потом девушка исчезла, исчезли люди, ожидавшие сеанса. А мы все смотрели друг другу в глаза, и уже ничего в них не менялось – ни единого проблеска. У открытого ресторана напротив шипел фонтан, автомобили сновали, оглушая ревом прохожих. Мигали огни рекламы. Пиво «Стелла Артуа» – самое благородное пиво всех времен. Сгущались сумерки над городом и несколько раз били часы, а мы все стояли и смотрели в глаза друг другу. Меня провожали голоса, раздававшиеся

из открытых окон консерватории, и бесконечный звук виолончели, пронзивший вечер, и случайный сладкий миндальный запах промелькнувшей навстречу дамы.

– Я тебе лучше из своего что-нибудь подберу. Здесь хотя бы мне твою одежду отдадут? Тебя вообще в одежде сюда привезли?

– Да, конечно... наверное.

– А откуда, где тебя нашли вообще?

– Вообще я в Питере была.

– Точно в Питере? Может, ты со своими друзьями где-нибудь на Соломенке задвинулись, и тебе показалось, что ты в Питере?

– Я помню, как ехала. Все помню. Почти что...

Сама дошла до палаты. Мне доверяют. Мавку уводили санитары. Надо чем-то занять время до вечерних процедур. Пытаться что-то вспомнить или слушать, о чем говорят санитарки. Не терплю фальшивые гибискусы на стенах. Зейберман в следующий раз что-нибудь принесет поесть, хотя я просила только сок. Она любит готовить. Лучше всего у нее получаются груши в белом вине, но мне было бы стыдно уплетать их перед голодной Штуцер. К ней никто не приходит. Здесь никто никого не угощает.

Слышу, как привезли новенькую. Санитарки волокут ее по коридору в первую палату. Перекрикивают друг друга.

– Не хочу! – орет она.

– А чего ты хочешь? Чего ты хочешь?

Мне выдали какое-то серое застиранное полотенце. Ладно, и такое подойдет. Хотела еще Лерке сказать, чтобы привезла нормальное. Может, сама догадается. Надо сходить в душ.

Гремящие металлические двери. Бледный, весь в сколах, кафель. Перешагиваю в поддон душевой, включаю воду. Мелькает мое отражение в створке дальнего шкафа и в зеркале, ромбом подвешенном прямо к оконному переплету.

Не люблю казенные душевые. Отчаяние в них умножается в десятки раз.

Я знаю, как долго можно сидеть в казарменной душевой, прислонившись затылком к липкой стене и каменеть от безысходности, не имея возможности даже плакать; глядеть, как стекают извилистые ручейки к решетчатой дыре в гнусном ржавом полу, слушать вздрагивающий вой труб.

Той зимой, в один тоскливый день, когда я сдала коменданту ключ от душевой, оказалось, что прошло уже три часа.

Комендант и его жена жалеют меня. У них есть маленькая собачка, которую они выгуливают, застегнув крест-накрест в перешитую офицерскую портупею. Детей у них нет. Может быть, поэтому они жалеют меня. Отец живет дома редко. Сейчас он на летном полигоне, по-моему, с любовницей, так до самой осени. Потом снова куда-то уедет.

По коридору взад и вперед прогуливаются две мышеподобные подружки, они читают молитвослов и шикают на тех, кто говорит громко. Я тоже стала прогуливаться взад-вперед по коридору, считая шаги. Впрочем, это успокаивает совсем ненадолго. Выздоровливающие сидят у низкого столика и рассуждают о музыке. За их разговором следит необъятных форм старуха в белом халате. Уже около десяти часов вечера. В отделении остались только больные и санитарки.

В палате наступает тишина. Девушка по фамилии Штуцер не может глотать таблетки, она тщательно, с хрустом, их пережевывает, и только после запивает водой.

Гасим свет рано, чтобы не летели комары, санитарки открывают форточки.

Кричит вновь прибывшая. Четкие отрывистые слова, громкие, долетают аж из дальней палаты.

– Ты тоже здесь из-за песен? – спрашивает Штуцер, которую вот-вот должны выписать. – Я все время боюсь, что у меня снова начнется и меня уже не выпишут никогда.

II

Лето неумолимо приближалось к несвежей зрелости. Ботаническая практика у первого курса должна была начаться в понедельник. А в субботу я проснулась на полу, завернутая в овчинный тулуп. Проснулась в слезах. Ступни были ледяными наощупь, рядом со мной на полу стоял холодный чай. Нагрязнула последняя стадия распада, нужно было встряхнуться и просто уехать. В полном соответствии с женской логикой я решила уехать в направлении, обратном тому, в котором улетел он, но так же далеко.

Богдан улетел в Анкару, когда стояли еще крещенские морозы. Попросил меня не огорчаться. Собрал свои вещи, снял с веревки полотенце, сизые подштанники и улетел. Я увидела билет на самолет и почти перестала общаться с ним. Когда у человека билет на самолет, его самого уже здесь нет, присутствует только голографическое изображение. Потому так сюрреалистичны монахи.

Пронзительное синее небо звенело в те дни. Чудесная изморозь, похожая на узорчатый лебяжий пух, удивляла город. Мы сидели в баре, в «Ребекке», и читали газету, в которую Богдан завернул билеты турецкой авиакомпании. Строители подняли краном в небо груды желтого кирпича. Белые ветки чертили завитки на рыжем фонаре.

Температура в Анкаре пять градусов выше нуля. Я все спрашивала, заведет ли он себе обезьянку.

Мы всю неделю бродили по зимнему городу, глядели в витрины магазинов, банковские и ресторанные аквариумы.

Я даже помню день на фестивале, когда сестренки Шацкие рассказали ему о французской студии в Анкаре, загорелые и наливные, словно персики. Он не различал даже, кто из них кто, но наверняка уже тогда завел с каждой интрижку.

Мы зашли на почтамт, и нас опрокинул запах сургуча. Он хотел отправить водку какому-то парню из Айдахо, с которым их свело в Праге, но в Штаты, согласно инструкции, выданной нам вежливым служащим, запрещено посылать водку, равно как и неустановленного образца травы и засушенных насекомых.

В субботу с утра изморозь покидала самые вершины пирамидальных тополей. Возле Оперного, там, где снесли дом, мы обнаружили аккуратную вывеску: «Здесь будет канцелярия немецкого посольства», и весьма выразительного орла.

– История еще не окончена. Как ни удивительно, даже такое может вернуться.

Я слышала лишь эхо: «Может, вернуться? Может, вернуться?»

Он зашел попрощаться с Кириллом. Сказал, что при первой же возможности посетит с экскурсией древние хеттские земли.

– Это как раз в тех местах, где сейчас курды борются за

независимость, поэтому советовал бы тебе интересоваться хеттскими землями исключительно в стенах стамбульского музея.

А потом он улетел. Мечтал о фисташковой халве в ожидании рейса, а я рисовала его портрет на бланке таможенной декларации.

Эти сестры Шацкие очень похожи: вместо носа у каждой будто клинышек вбит между бровей. Я из побуждений вежливости допытывалась, кто из них снял «Уикенд», а кто «Кофейную гущу», они показали, но я все равно не различала.

Мы сидели в шестиугольной загородке центрального терминала и завтракали. У меня сводило скулы от предстоящей разлуки.

За день до этого он не совсем честно обошелся с зарвавшимся перекупщиком анаши, одним из двенадцати известных в городе финских ди-джеев. Тот просил его купить пять стаканов у соломенских бандитов и выделил для этой цели определенную сумму. Конечно, Богдан взял деньги и на завтра безответно улетел с ними в Анкару. Благо, билет оплатила студия. Это была давно назревавшая месть: когда-то этот финский ди-джей продал ему за немалую сумму очень плохую траву.

В Киеве совсем не осталось кофеен, их можно было перечесть по пальцам. Мы бродили весь вечер и, наконец, нашли одну на Подоле, за зданием Почтовой станции.

В полутьме на черных стенах танцевали нарисованные бе-

лой краской боги инков. Они были исполнены весьма до- тошно, а на фонарях, встроенных в стену, становились баг- ровыми и смеялись. Мы разделись, присели, девушка зажгла на столике свечу. Богдан вдруг вскочил, будто ошпаренный, и сказал, что нужно уйти. Он заметил на салфетке назва- ние кофейни. Оказалось, что каким-то роковым образом мы угодили в излюбленное место этих самых финских дидже- ев. В Верхний город он из опасения возвращаться не хотел, а весь Подол в поисках уютной кофейни мы уже обошли. Пришлось довольствоваться приземистым дорожным ресто- ранчиком Макдональда, что у набережной. Расположившись возле монгольфьера с желтой плетеной корзиночкой, мы пи- ли какао, которое подают здесь под видом горячего шокола- да, и вели бессмысленный разговор о влажных тропических лесах, загубленных гамбургерами. Я видела сквозь его отра- жение Днепр и реющие флаги, а он видел сквозь меня ре- шетку и девушку, дрожащую от холода на ступенях и кутаю- щуюся в бабушкину кофту.

Маленькая бориспольская цветочница, которая продава- ла ирисы и орхидеи там, за пределами стеклянного шести- угольника, была куда счастливее меня, державшей его за ру- ку и наблюдавшей за ней из-за стекла.

В этом сумятном описании я вовсе не хотела бы уйти в де- бри любовных страданий, дабы каким-то образом удовлетво- рить свои мазохистские наклонности, мне хотелось бы про- сто... что? Захер, Мазох? – хотелось бы мне спросить у от-

ца-основателя, – зачем, Герасим? Но сумерки давно уже ступились над богами прошлого.

Все они были студентами театрального – и Богдан, и Ольховский, и Энди. Впрочем, Богдан к тому времени уже бросил институт. Учился он на режиссера-мультипликатора, но в любви к театру были особые преимущества.

По вечерам все «театралы» собирались в «Ребекке», туда же подтаскивались и дешевые проститутки, доступные даже студентам, при этом страшные интеллектуалки и спорщицы. С типичным образцом такой я познакомилась в первый же день, как мы заехали туда, к Хамелю, забрать стакан плана. Хамель работал здесь барменом и одновременно присматривал за проститутками. У входа в «Ребекку» всегда дежурил таксист. Как только мы спустились вниз, на нас набросился слюнявый радостный Джой – хамелевский боксер – милашка и симпатяга, на манер самого Хамеля, только искренний, чего нельзя было сказать о самом бармене. Пока Богдан разговаривал за стойкой с Хамелем, ко мне подседа она и, кутаясь в шаль, принялась меня расхваливать и спрашивать, кем я прихожусь Бодику. Потом она плакалась мне на свою судьбу и говорила, что вот уже пятый год будет поступать в театральный, что сейчас она готовится и подбирает отрывок из французской литературы.

– Вот послушай... Так, мене, хто так полюбляв сидіти на берегах Тибра в Римі, а в Барселоні сотні разів прогулюватись туди й сюди бульваром Рамблас, – она читала отрывок

из Сартра, на украинском языке, – ...тепер існую в тому ж часі, що й оці гравці в манілью, і слухаю...

– Жанка, блядь, прыгай в машину, сейчас выезжаем, – позвали ее с улицы.

– Вы их извините, они такие грубияны. Прощайте!

Я улыбнулась ей, стараясь, чтобы в моей улыбке не проскользнула жалость – мне было искренне жаль ее. Тональный крем, которым она замазала круги под глазами, контрастным пятном расплзся по скулам – и она была похожа на старую куклу из папье-маше, от которой отклеиваются лоскуты бумаги.

Среди них всех мне больше всего нравилась Дама с камелиями: она была здесь каждый вечер, и всегда на ее столике лежала пачка легкого «Мальборо». И только в дни обычного женского недомогания она курила из красной пачки, и все знали, что к ней подсаживаться не стоит – в эти дни она пребывала в задумчивости, но никогда не случалось так, чтобы она не пришла вовсе.

Дама с камелиями всегда заказывала один и тот же коктейль – коньяк с вишневым соком. Темно-бордовая жидкость медленно поднималась по соломинке, как кровь по стеклянному капилляру в медкабинете.

Не знаю, зачем он так часто брал меня в «Ребекку». Может быть, ему было скучно без меня. А может, он надеялся, что я отстану от него и влюблюсь в кого-то другого. Здесь это случалось сплошь и рядом. Но мне не хотелось смотреть на

других. В его внешности было нечто женственное, но не педерастическое, упаси боже, а как в молодом Марселе Марсо, что-то неуловимое, как молочный оттенок ночного моря в лунную ночь. Когда я смотрела на него, меня пронзали электрические вспышки. Он чувствовал это. Мы уходили в дальний коридор и целовались. Электрические вспышки. Электрическое безумие. Я превращалась в стеклянный шар, подключенный к электрогенератору. И чувствовала только его руку на спине, сминающую мое легкое платье, ныряющую в джинсы, проникающую под майку, расстегивающую лифчик.

Он поселился у меня в казарме зимой, в день моего рождения. Перелазил через забор за гаражами.

В тот день он подарил мне целую коробку видеокассет – несколько фильмов Куросавы, «Голый остров» Канэто Синдо и «Лили Марлен».

Мы начали с Фассбиндера. Всегда, когда я смотрю фильм, то ощущаю определенный привкус или запах. «Лили Марлен» – это запах мускатного ореха.

Потом мы пошли прогуляться и закурили где-то на БЖ, в подъезде.

Это было не очень приятно. Казалось, все, с кем мы курили, считали упущенные мною взгляды и не давали взлететь. Какая-то щербатая мамочка втыкала сигареты в мои замерзшие пальцы. Потом мы шли по Десятинному переулку, и я почему-то думала, что мы идем по какому-то прибреж-

ному нигерийскому городку, удаляясь от звука барабанов. Я пыталась говорить – тротуар раскалывался от моих слов, а он все продолжал считать рассыпающиеся стрелы. Он считал пробелы в моей пантомиме и убивал корчившуюся в судорогах фразу, и так уже потерявшую надежду выкарабкаться. Я зачем-то вспомнила, что только марионетка на трости может совершать резкие движения, хотела сказать ему об этом, но фраза тонула безнадежно. Когда идешь по зимнему нигерийскому городку, удаляясь от побережья и звука барабанов – идешь к следующим, и к следующим – это путешествие. А когда залипаешь на своем барабанном бое – то это уже смерть, пламя тебя поглощает, как чудовище, и даже не важно, что это – танец дикарей или фестиваль. Нужно идти и идти. Татхагата, шагающий вечно, шагающий мимо Форрест Гамп. «Я стал кочевником...»

Потом я уже шла одна, в направлении Бруклинского моста. Рабочие, в свете строительных фонарей мостившие тротуар, оглядывались на меня, и мне казалось, что они говорят: «What a horse!» или «What a whore!» Каблуки моих сапог цокали ритмично, и мне действительно казалось, что я какая-то лошадь – клубился пар, заиндевели ноздри. И тут шлагбаум, вынырнувший из клубов пара, чуть не разрубил мне грудь. Я шарахнулась в испуге, но, оказалось, это не шлагбаум, а две длинные тени каких-то проходимцев, вышагнувших из подворотни.

Мне казалось, что ушла уже далеко, но, обернувшись,

увидела мигающую неоновую надпись – синюю/красную – ОЛЬСЕН/МЕХА – я все шла и шла, и снова, обернувшись, увидела ОЛЬСЕН, так и не могла добраться до площади, прорваться сквозь все эти застекленные полки с туфлями, ртутными манекенами в костюмах, идиотскими конструкторами в морщинах гардин, гарцующих безголовых велосипедисток с поднятыми кверху резиновыми попками, дородных механических Санта-Клаусов с оловянными гусарами в почтовых сумках, безродных мумий в париках, коробок с парфумами, сумочек, бюстгальтеров, кубинских сигар и фарфоровых гусятниц – сквозь весь этот счастливый рождественский мир. Я задыхалась, как будто меня травили борзыми.

После мы обычно курили дома. Он рассказывал, что когда накурится, всегда попадает в какой-нибудь фильм. Однажды он валялся на кровати и говорил, что он – Георг Ривз с простреленной головой. Иногда в своих фильмах он боялся коснуться меня даже кончиками пальцев, как борец сумо боится коснуться пола.

А потом он улетел.

Каждое утро я просыпалась оттого, что солдат скреб лопатой снег под окном. Но сон будто бы продолжался – мне виделись перетекающие друг в друга лица, которые становились отчетливыми, как только внимание заострялось на каком-либо из них. Эти лица можно было перетасовывать бесконечно – живая ртутная «Толпа» Ренато Гуттузо, каждое лицо, каждая фигура в ней могла начать двигаться, лишь

только ухватив текучую влагу моего внимания. Сменяются эпохи и касты, я выбираю лицо, как в «Мортал Комбате», оно движется, и я постепенно сливаюсь с этой фигурой.

Люди казались призрачными созданиями, вялыми рыбаками бездны, издающими бессвязные звуки, будто выплывающими из кинофильма Люка Бессона.

Я едва могла ходить на лекции.

Весной мне приснилось, что я приехала к нему в Анкару.

Мы сидим на террасе его большого дома втроем – я, он и его жена. Ветер колышет шторы, видны согретые солнцем холмы, несколько домов на склоне одного из них. Стол накрыт белой скатертью, на нем множество красивых чашек, кувшинчиков, бокалов, узорчатых, с костяными ручками, ножей и вилок. Мы ждем, когда поджарятся наши цыплята – видно, как за стеклом жарочного шкафа они переворачиваются на вертеле. Его жена вся в возбуждении, что-то щебечет и хвалит свой куриный шкафчик. «Всего пять минут – и готово. Не верите? Я вынимаю своего!» Она открывает шкаф и снимает с вертела при помощи длинной вилки сочащегося коричневого цыпленка, кладет его на блюдо и все что-то говорит, говорит. «А теперь нужно полить его молоком». Она берет кувшин с молоком и льет на тушку. Молоко течет по тушке, по блюду, по скатерти, льется ей на платье – а она вся такая довольная, радостная: «Вы кушайте, кушайте!» Мы едим этих цыплят и все не можем насытиться... А со скатерти стекает ручьями молоко.

Одно время он учил меня французскому языку. Заставлял бесконечно повторять «Утренний завтрак» Жака Преве. Впрочем, он утверждал, что «Утренний завтрак» – это не французский, это мудрость расставания. «Искусство быть женщиной, – говорил он, обматывая шарф вокруг шеи, как это, вероятно, делал сам Жак Преве, – заключается в умении расстаться с мужчиной».

III

Резко похолодало, выдали по второму одеялу. В коридоре гремят ведрами и спорят.

У обитательниц нашего отделения любимое развлечение – ходить с ведрами за завтраками и обедами, выносить биксы или сдавать белье в прачечную. За это к ужину дают дополнительную котлету, или сваренное вкрутую яичко к завтраку.

Новенькую зовут Настей. Сегодня она не могла войти в столовую – боялась кошки. Санитарки втащили ее под локти и посадили за общий стол. Есть не хочет – кормят насильно. Смотреть на это неприятно. Ничего, потом ее переведут на беспривязное содержание, за спиной перестанут громоздиться санитарки – станет легче. Помнится, меня тоже кормили после той ночи в смирительной рубашке.

Худенькая, маленькая.

Nec femina, pes ruet, как говорится.

Снова по палатам. В вазах с цветами девушки меняют воду. Упаковка «Сибазона» (его мне вкалывают на ночь) удивительно похожа на пачку «Житана» (блонд). Сидя за столом, вижу стену другого крыла здания. Бумага заканчивается. Осталось несколько листов. Хотя стараюсь писать самым мелким своим почерком. Надеюсь, у аспиранта будет с собой еще.

Сегодня с утра пациенты мужского отделения жгли ветки и мусор, дым курился по больничному двору и заходил сквозь открытые окна. До сих пор запах.

Штуцер хрустит утренней порцией таблеток.

– Так ты здесь из-за песен?

– Я здесь из-за звезд.

Когда мы умрем, хочется мне сказать, то полетим к звездам – каждый к своей звезде – как сквозь падающий снег. Да мы уже летим. Каждый к своей звезде. Я так хотела, чтобы мы с ним летели к одной звезде. Но мы летим к разным. Неважно, главное, летим! Иначе быть не может, никак не может быть иначе! Зачем тогда были Азимов, Стругацкие и Станислав Лем, зачем мы вообще их читали в детстве? Ведь не может же быть так, чтобы бог был глупее Станислава Лема?

– Один человек сказал, что у меня глаза, как два Соляриса... – говорю я вместо этого.

– Солярис – это планета.

– Я в курсе.

С Энди мы познакомились на Замковой горе. Он подошел со спины и заглянул в мой блокнот. Ничего особенного. Золотой осенний холм с кривой булыжной улочкой, белой церковкой с зелеными куполами и розовой гостиницей, похожей на бутафорский замок. Желтое небо в кудлатых облаках.

Я рисовала гелевыми ручками – черной и золотой. И слушала «Крэнберриз».

– Золотой цвет – символ седьмого неба у Лаврских живописцев.

– Да неужели? Кто бы мог подумать!

Мы болтали, а потом он пригласил меня спуститься вниз, к «Рулетке» – там у него была встреча с марокканцами. Сначала мы забили где-то во дворах Малоподвальной.

Настоящий марокканский гашиш, как уверяет Энди.

Мир становится волшебным. Новый друг долго всматривается в мое лицо:

– У тебя глаза, как два Соляриса.

Я исчезаю. Затем снова пытаюсь понять, где нахожусь. Сплошная зеленая стена, и в ней четыре косо выстроенных крюка с белыми пятнами фарфоровых изоляторов. Энди улыбается. Переглядывается со смуглыми парнями. Одного зовут Мунир (приятный тип, с бородкой, похож, скорее, на доктора наук), другого – Мухаммед (из породы мерзавцев, с плоским, высосанным гашишем лицом) – они едут в Германию, говорят, что летчики. «О, мой папа летчик!» Смеюсь, потому что знаю, что несу очередную чушь.

Вечер заканчивается в гостинице «Москва», в номере, похожем на контейнер для радиоактивных отходов. Так его обозвал Энди. Говорим об исламе. Об авиации. О поднебесном мечтателе Вилли Мессершмитте.

Я ничего не соображаю. Ставлю в плеер другую кассету.

«Над нами летит его аэроплан, и пишет на небе: «Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от бога глаза, а то как он найдет нас?» Небесный град Иерусалим...»

Выходим из гостиницы. Я трезвею. Энди провожает меня до остановки.

– А может быть, из-за песен.

– Пятая палата, на осмотр!

Неопрятный доктор в мятом халате с пятнами щелкает фисташки, развалившись в кресле.

– Ну что, девочки, все в порядке, ничего не болит? – доктор понимающе подмигнул и расщелкнул фисташку, затем он очистил орешек и бросил скорлупу в корзину для бумаг, – менструации вовремя?

Мы синхронно киваем.

– Тогда, девочки, – он сладко улыбается, – свободны!

Снова выходим в коридор. Штуцер с облегчением вздыхает. Поворачивается ко мне, как будто ничто не прерывало наш разговор:

– Значит, из-за песен.

IV

Найти попутчика труда не составило. Летом все куда-то едут.

Ольховский не казался мне лучшим вариантом, но Питер! Питер!

Мысль о ботанической практике никак не грела. Меня и без того весьма утомил июнь, посвященный энтомологическим изысканиям. Коробчишин доставал всех своими роющими осами, по которым писал диссертацию. Мы с Леркой, в свою очередь, доставали Бербеса. Просили рассказать, как приготовить сок из шпанской мушки. В университете ходили слухи о том, что Бербеса однажды чуть не посадили. Несколько лет назад профессор наш подружился с отставным генералом, и без шпанской мушки весьма похотливым, который постоянно зазывал его студенток в гости пить коньяк. Студентки, наученные Бербесом, добавили генералу в коньяк несколько капель этих давленных мушек и ушли, покинув генерала наедине со своим горем. Генерал, как выяснилось позже, не имея возможности кого-нибудь найти для утоления пламенной шпанской страсти, умер от разрыва сердца. При упоминании об этой истории Бербес очень злился и, в итоге, едва засчитал нам с Леркой практику.

Небо в день отъезда было дымно-горьким, напоенным каплями утреннего тумана. Серое, холодное мерзкое небо с

мерзнущими грачами на ветках...

Сообщив коменданту, что уезжаю на практику, я сдала ключи и вышла из подъезда.

Автомобили на тесной казарменной стоянке начинали свой утренний котильон. Из-за туч выглянуло бледное солнце.

Я была похожа на любимую женщину Сальвадора Дали – такой себе каркасный складной шезлонг с выпирающими тазовыми костями, на который натянута джинсы и свитер. К рюкзаку тонким армейским ремнем прикручено коричневое верблюжье одеяло, которое, конечно, сразу же начало съезжать.

Это нелепое существо шло по улице, примыкавшей к ограде Военной академии.

Как грустно было расставаться с этой улицей, с глухой нелепой стеной, в которой вращался маленький красный вентилятор. Уплывал в прошлое маленький бутик с двумя цилиндрическими витринами, отражавшими всю противоположную сторону улицы. Я проходила мимо него каждое утро, а иногда и вечером, он размещался рядом с булочной. Теплые мужские пальто стояли отдохновенно, как будто зашли в эти джазовые цилиндры погреться и выпить кофе. По ночам в этих цилиндрах начинался Колтрейн. Прошлой зимой бутик приобрел двух манекенов мужского пола и название, высвеченное фонарями: «Фауст».

Навстречу мне угрюмый молодой грузчик катил по моще-

ной улице тележку с пивными ящиками. Тележка громыхла. Старуха состригала сухие ветви с виноградной лозы, увидавшей ее окно.

У мебельного магазина выстроились в ряд желтые фургоны. Водители разговаривали, плевались и курили. Надсадно звенела циркулярная пила, и тончайшая древесная пыль облаком взвивалась над тротуаром. Из дверей выносили обитые бордовой тканью высокие стулья.

Во дворе Ольховского все дышало утренним спокойствием – молчали капли воды на перекладинах пожарных лестниц, молчали водосточные трубы, прикованные к стенам железными стременами, молчали коробки кондиционеров, готовые к сражению с дневным зноем, и свисающие с парапета, отделяющего верхнюю часть двора, ивовые пряди. На верхней площадке двора мальчик выгуливал бигля.

Пес проскакал по бревну и отчаянно залаял, и тут же весь двор оживился от этого лая – задрожали золотистые наклонные зеркала, прячущие за собой подвальные ямы, и желтый жираф с плаксивой мордой суксился и словно бы поджал хвост. Казалось, что даже дрязг и дребезг кофейных чашечек из открытой балконной двери происходил теперь именно от этого. Только белые жалюзи в нижних конторских окнах сохраняли повислое спокойствие, да вовсе невозмутимое небо, заключенное в квадрат. Усатая женщина на балконе уронила окурок, бигль затих. Беззвучно ослабились «смеющиеся коробки».

Последний этаж, звоню. До этого звонка я жила без особых дум о предстоящем путешествии, равно как и без дум о том, что случится, если ему не суждено будет состояться. Другими словами, полная пустота, полная готовность к срыву при каждом телефонном звонке. Мною руководила не мысль о том, как привести свое намерение в действие, а скорее готовность воспринять крах этой идеи без особых эмоций.

Грохот засова, пыль, тяжелая плюшевая занавесь. Представление началось.

Было уже одиннадцать. Он встретил меня, наскоро вырядившись в белоснежные кальсоны (подпрыгивая, расправлял манжету на правой ноге), оставив обнаженным торс и худые прозрачные руки.

– Здравствуй, – впустил меня. Я зашла в огромную прихожую и бросила свои вещи в глубокое кресло. Даже не подумала, что мы задержимся тут надолго. Напротив кресла висело массивное распятое, у спасителя был приоткрыт один глаз, похожий на плотную белую горошину, вытянутую из ухи.

– Смотри, ноги натрешь без носков, – Ольховский будто бы непринужденно проронил это с интонацией бывалого человека и поглядел на мой рюкзак. – Ничего, переберем, может, еще и не один раз. Все будет как надо, давай, проходи в гостиную, присаживайся, я пока начну собираться, кофе сварю.

Я не совсем понимала в тот день, как можно собираться и оставлять дом с тем, чтобы вернуться.

Он все оставлял так, как будто собирался отлучиться дня на два. Я каждый раз уезжаю навсегда, а если приходится возвращаться, это удивляет меня до невозможности. Все потому, что за мою жизнь случилось около десяти масштабных переездов, а что касается полетов, то свое путешествие на Луну и обратно я совершила уже к пятнадцати годам. Даже когда уезжаешь не навсегда, возвращаешься все равно другим. Когда оставляешь пустые комнаты, выцветшие геометрические фигуры от картин на стенах и непривычное распределение света, а через три месяца прилетаешь уже взрослым. Конверты пластинок покрыты пылью, все такое неродное, мрачное и отчужденное после ночного аэропорта и счетчика в желтом такси.

Теперь со мной было только настоящее – ни прошлого, ни будущего у меня не было.

Я топталась в просторной светлой прихожей. Справа, между дверью в комнату сестры и дверью в кухню громоздилась полка с книгами, под ней находился резной комод с салфеточкой, телефоном и сухим овсом в фаянсовой вазе. Царского издания Лесков, фотография сестры над фортепьяно (хорошо вдруг представила себе, как этот *agnus Dei* играет Моцарта оцарапанными пальцами) и всякие красивые безделушки. Все казалось таким ухоженным и проникнутым семейным теплом, что мне стало как-то грустно.

Самого Ольховского трудно было не обвинить в пристрастии к изящному. В личной жизни он давно обрел стабильность, достигнув заветного согласия страстей: навсегда и безнадежно влюблен был в одну актрису (и даже несколько раз здоровался с ней) и слепо, но регулярно довольствовался смазливými буфетчицами и костюмершами. Иногда для собственного удовольствия он выгуливал серую датскую догину соседа, по осени неизменно прихватывая с собой мельхиоровую флягу с коньяком.

В гостиной меня встретила огромная кошка цвета патинированной бронзы, огромная и пушистая. Кошка посмотрела на гостью и вернулась на диван. Я устроилась в кресле возле балкона, откинула голову и закрыла глаза, будто исчезла.

На стене висела кукла с чудной головкой из папье-маше, изображавшая Марию Медичи. Когда Андрюше было семнадцать лет, он дружил (так он сам окрестил эту особенную форму общения) с девушкой, которая училась в Консерватории играть на альте, в мечтах жила в старинном королевстве и на свою стипендию возила его во Львов. Она и подарила ему эту куклу. Он расстался с девушкой по той причине, что у нее отказали ноги, когда он покурил с ней анаши. Она не могла двигаться, и с ней, к тому же, случилась истерика. Тогда он испугался и перестал с ней встречаться, и с тех пор довольствовался более жилистыми и духовно крепкими особами.

Такое ужасное фарфоровое лицо, как у этой куклы с белы-

ми буклями, можно было представить только в сказке Гофмана: лицо улыбалось. Но, внимание! Внимание! Как оно улыбалось! Высокие скулы, выдающийся белый подбородок. Взгляд словно протаранивал насквозь, как ножами. Глаза искрились белой алебастровой приятностью, от которой холодело в груди. И этот растянутый рот, и выпирающие зубы, застенчиво прикрытые черным веером.

– Это Черная Отравительница, Мария Медичи. Одна де-вушка подарила...

– Да, Энди рассказывал.

Энди тоже звали Андреем. Чтобы не путаться, при знакомстве тезки решили Ольховского оставить Андреем, а второго Андрея впредь называть Энди. Прижилось. В конце концов, они уже много лет знакомы.

Балкон был приоткрыт. Ветер отталкивал занавеску и ничуть не тревожил штор. Шевелил слегка мои волосы. Париж за окном уже гудел. Квартира Ольховского находилась под самой крышей шестиэтажного дома, откуда открывался такой вид, словно мы были под крышами Парижа, на том угловом балконе, где прошло детство Рене Клера. Я раскачивалась, обхватив пальцами перила, покрытые золотистыми крупинками лишайников, вместе со мной раскачивались крыши, балконы и цветы в жардиньерках.

На балкон выброшены были доски, ящики, банки с олифой и всяческий хлам, на веревках висела связка сушеной рыбы, красная майка и несколько пар носков, на полу валя-

лись пожелтевшие газеты. Голуби провожали взглядами прохожих.

На столе сушился базилик. Андрей объяснил мне, что уже два года киевские старушки не продавали среди других пряных трав базилик, и в этом году он решил засушить его сам.

«Ах, Кондор! Отнеси меня в долину Амазонки, где каждая девушка – богиня» – пела Има Сумак.

На смену ей Ольховский принес диск с африканскими барабанами, он недавно купил его на Сенном рынке, и это был, по его уверению, еще не самый интересный диск в его коллекции. Он положил конверт на шахматный столик, сам подошел к комоду, присел на корточки и начал проводить какие-то магические операции с проигрывателем. У него так четко вырисовывались все мышцы, через тонкую нервную кожу каждое движение резко расчерчивало его худое скелетообразное тело на полоски и ромбы. Он поставил диск и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Музыка заполнила ровно весь объем комнаты и без всякого усилия вливалась в меня, как будто по градиенту концентраций.

Когда он готовил кофе, для чего-то ему было необходимо несколько раз стучать кофейником о стол, потом ждать и еще раз стучать, накрыв сверху лоскутом. Я продолжала ходить, рассматривала книги и портрет маленького Ольховского, склонившего на бок кудрявую головку...

Он принес кофейник, две маленькие чашечки с блюдцами, на подносе, и сахарницу, поставил все это посреди ком-

наты. Когда звякнул телефон, он сделал тише проигрыватель и вышел. У меня опять возникло ощущение слома событий, как будто он сейчас войдет и скажет: «Ты знаешь, я не могу сегодня».

Я не стала пить без него кофе. Выключила африканские барабаны и продолжала ходить по комнате. Снова вышла на балкон.

Внизу, видно, подул ветер, маленькие люди сжимались и заворачивались в одежды, маленькие женщины держали рвущиеся от ветра платья, маленькие дети жались к стенам домов, а маленькие старушки грелись в маленьких кухнях, где было тепло, уютно и не было ветра. Ветер по-хозяйски разливал по двору и гудел в лабиринтах подворотен. Но солнце теперь светило ярко-ярко, стены домов и деревья блестели. Золотое сияние разливалось по двору, отогревая его от холодной ночи. Человек из подвального издательства раскладывал книги на оконных переплетах.

Странно вдруг выбиться из известной жизни, кем-то для тебя распланированной, из известного лета. Это лето, и следующая осень, и следующая зима, и год, и через год, и вся жизнь... Я не могу выносить, когда мою жизнь кто-то хочет сделать похожей на детскую раскраску: все уже заранее нарисовано, контуры намечены на двадцать страниц вперед, а тебе остается только сидеть и заполнять их цветами. Зачем мне это лето, если я знаю, что и как будет, все в точности, если требуется только прожить его. Если все так известно, то

считай, что и прожито. Мне хотелось неизвестности, сладкой неизвестности впереди и высшего наслаждения настоящим моментом. Только жизнь, только этот угрюмый ветер. Я снова оперлась животом о перила, подогнула ноги и раскачалась. В лицо плеснуло ветром.

Весь двор со старым маленьким седаном, маленькими окошками и старушками, снова закачался и закружился перед глазами, вспыхивая слепящими солнечными зайчиками. Я стала человеком без прошлого и без будущего. Как осенняя ящерица, я впитывала холод, свет и скрип деревянных перил. Внезапно все потемнело.

Это Ольховский закрыл мне глаза руками. Он расцепил руки и стал снимать с веревки носки, еще носки и красную майку.

– Идем пить кофе.

Мы уселись на пол возле аквариума, он налил в чашечки густой черный кофе.

– Посолил?

– Тебе – нет. Знаю – ты не любишь.

Мрачный аквариум помещался в углу: замутненное коряжистое дно, и там, на дне притаились два маленьких сомика, которых едва можно было разглядеть. Поведение их очень удивило меня. Лежит этот сомик неподвижно и не шелохнется, даже если стучишь по стеклу пальцем, едва лишь поведет глазом, но в какой-то ему ведомый момент подскочит, взвьется к поверхности, и оттуда – стремглав на дно. Дви-

жение его молниеносно, словно взгляд.

Свет от аквариумной лампы освещал Андриюшу, его богато орнаментированное тело: на шее висел кожаный шнур с тяжелым распятым, и второй шнур, с ладанкой, запястье было обмотано веревочкой с множеством узелков, а на пальцы надето несколько колец и серебряный перстень с черным агатом.

Он медленно затягивался сигаретой и пил свой подсоленный кофе.

По-видимому, он претендовал на то, чтобы стать моим бенефактором, как, впрочем, и многие до него, не имея к этому никаких предпосылок.

– Почувствуй тепло... Понимаешь, кофе тут ни при чем. Можно просто дарить друг другу тепло, обычное человеческое тепло.

– Обычное человеческое тепло... Потееющие бразильцы на раскаленных солнцем плантациях. Меня тошнит от человеческого тепла.

В кофейнике больше ничего не оставалось. Я перелистывала журналы на жухлом зеленом бархате стола, где лежала дешевая офсетная иконка и книга митрополита Нестора о миссионерском труде среди камчадалов.

Я захотела еще что-нибудь послушать и направилась в Андриюшину комнату.

В комнате было мрачно. В дальнем углу светился монитор компьютера с заставкой «Кандинский».

Ольховский собирал вещи. Все было раскидано – рюкзак, карримат, новеллы Сэлинджера, лента презервативов с ребрышками в красной коробке. На столе валялись кубики бульонного концентрата, на полу – подсушенные кусочки ветчины в корочке коричневого сахара и горчицы, анчоусы в жестяных коробках. Блокнотики, карманные книжечки безвестных поэтов, альбомы Бердсли – все, что должно иметься у добросовестного каторжанина собственного интеллекта.

Знакомые безделушки.

Эти его тридцатиграммовые жестяные табакерки Javaanse Jongens с силуэтами двух обезьянок, склонившихся над самокруткой. В этих обезьянах он хранил швейные принадлежности и пряности. Кляссер с марками дружественных стран. Когда-то он мне о них рассказывал: солнце востока, отец всех народов Мао, вьетнамские марки, кубинские, ливийские, австрийская марка эпохи империи (он осторожно поправлял их пинцетиком), колониальные марки, марки правительства, бывшего у власти всего два месяца...

На столе – скромно – томик Станиславского.

Множество пластинок на полках.

Теперь Андрюша рылся в шкафу. Я рассматривала его вещи. Обожаю разглядывать мужские вещи: хлопковые майки, сорочки, галстуки, запонки. Он не без удовольствия демонстрировал мне свои сокровища.

Среди пластинок я нашла довоенные записи польского уличного оркестра и вернулась в гостиную к кошке.

Не успели мы прослушать и нескольких песен, как зашел Ольховский.

– Давай теперь с твоим рюкзаком разберемся.

Он отстегнул одеяло. Расположились на полу в прихожей.

– Так, – он начал свою речь, сделав серьезное лицо, большим и указательным пальцем провел по углам рта, отчего обозначились все морщины и складки его бассетовского лица. – Опыт хождения по трассе имеется?

– Ну...

– Ясно, – он вздернул брови. – Что ж, посмотрим, что у тебя там... Энди придет – еще раз все перетрясет, так что все будет хорошо. Миска, кружка есть?

– Есть.

– Зубная паста, щетка?

Я кивнула.

Он стал выбрасывать мои вещи. Первым полетел сверток с орехами и фруктовые пастилки.

– Это мы не берем!

Он откладывал все в сторону, на пол.

Плоская коньячная бутылка была вместо фляжки, на энтотомологической практике я таскала в ней воду.

– Что это? Нельзя брать с собой бутылки. Бутылки – это такое дело, они разбиваются...

Он так вздохнул, как будто говорил о погибшей любви.

– Фляжку ты с собой не взяла, я так понимаю.

К фляжкам у меня с детства недоверие. Мне всегда ка-

залось, что жидкости в солдатских флягах приобретают какой-то нездоровый привкус, возможно, это из-за разнообразных алкогольных пристрастий владельцев этих фляжек. Объяснять это Андриюше не имело смысла. Как не имело смысла рассказывать, из скольких солдатских фляжек мне выпало пить. Я прекрасно знала, что Зигмунд Фрейд являлся для Андриюши непререкаемым авторитетом, сама же предпочитала в некоторых вопросах придерживаться взглядов Адольфа Адлера, особенно в том, что сексуальное влечение – не есть исходная мотивационная тенденция. Поэтому просто промолчала.

– А это что? Это ты вместо кружки?

Он вынул мою чашку молочного цвета, поставил ее на ковер, встал и молча ушел на кухню. Через минуту он вышел, держа в руках металлическую кружку, покрытую белой эмалью, с какими-то нарисованными травинками и сыренькими полевыми цветочками.

– Кружка нужна для того, чтобы можно было вскипятить воду на костре, ты же не думаешь, что за тобой будут возить полевую кухню? Или, может быть, ты не знаешь, что в керамической чашке не кипятят?

Он продолжал разбирать содержимое рюкзака. Все вещи находились в двух отдельных свертках, таких больших, что это занимало бестолково много места. Он вытащил свертки. Одежды у меня было немного. Белье, две пары носков, новое летнее платье, батистовая рубашка, африканская туника

и зеленая юбка, разрисованная купальными папоротниками с желтыми огнями. И, конечно, ботинки. Он все это извлек, и почти ничего не осталось: сверток с апельсинами и кусок хлеба, завернутый в подарочную бумагу с золотыми звездами. Жестяная коробка от леденцов с черепами полевок привела его в некоторое замешательство. Он бровью сделал так: «Ну что ж, ну что ж!»

Полотенце в одном свертке с флаконом шампуня и мылом, которое я выиграла на соревнованиях в беге на четыреста метров, пачка таблеток сухого горючего, французский словарик (память о Богдане), узкая черепаховая расческа с куском газеты, чтобы на ней можно было играть, сложенный вчетверо дайджест, пластырь, узкий нож с деревянной ручкой, ложка, литая медная пряжка от старого ремня, изрисованные блокноты, газовый баллончик, пачка снимков, книга Рене Менара о мифах в искусстве (с теоретическими выкладками новых язычников), серый блокнот с лучшим из англоязычной поэзии, один чистый блокнот, документы и ручка.

Если думать, что едешь в отпуск, то достаточно, но для меня это было началом новой жизни и это были все вещи из прошлого, которым я позволила остаться. Все мое прошлое поместилась в один рюкзак. Обычно при всех переездах я еще заботилась о коллекции подков, собачьем черепе, найденном на железнодорожном полотне и покрытом ржавыми пятнами, конской лопатке и пястной кости – с ними все же

пришлось расстаться. Рюкзак был для меня скорее лишней обузой. Одежду, как и книги, можно найти в любом месте.

Начал заново складывать одежду. Не тот человек, чтобы краснеть при виде женского нижнего белья – это придавало мне спокойствие.

– Наверное, лучше будет, если ты попытаешься одеяло тоже положить в рюкзак.

Он принес мне оранжевый карримат, вещи по-отдельности накрепко свернул – и все уместилось.

Раздался телефонный звонок.

– Что я могу тебе сказать? Белый? У меня. Точнее, пока еще не у меня, но, – он помолчал в трубку. – Безусловно! Я знаю только, что они используют сорбент. Ну, я тебе при встрече объясню, зачем. Нетелефонный разговор.

Меня так веселила серьезность этого морщинистого мальчика.

– Разговоры с иностранцами ты берешь на себя. А я – с нашими. Понимаешь, люди, когда берут кого-то с собой в машину, они делают это для того, чтобы с ними разговаривали. Он, может, сутки один ехал, и теперь ему нужен собеседник.

Он собирал аптечку – такой дорожный сундук, в котором можно вполне было уместить труп.

– У тебя есть еще какие-нибудь таблетки, лекарства, давай сюда!

– Какие еще лекарства? Кстати, а можно сейчас ездить с газовым баллончиком?

– Полезная вещь.

– А как же таможня?

– Прятать нужно уметь. «Нервно-паралитический»? Сомневаюсь. Безопасней его все же оставить.

Я ушла в гостиную слушать польский оркестр. Иногда заходила кошка проконтролировать мое поведение. Зайдет, взглянет, что все в порядке – и тихо удалится. Затем я снова бродила по квартире и пила свой виноградный сок из кофейной бутылки.

Взглянув в очередной раз на сверток с апельсинами, он сказал:

– Ладно, пожалуй, можно взять, пить в дороге захочется.

Необходимые в дороге мелочи он с таким воодушевлением собирал и раскладывал по всем карманчикам.

– Ты спички взяла?

– Нет.

– Так возьми, – он протянул мне несколько коробков. – Расположи в разных местах. Если в одном месте промокнут – в другом останутся сухими.

Обратил внимание на то, как я смотрю на его нужные мелочи.

– Ты знаешь, мы все это берем, а в дороге окажется, что какую-то мелочь, но забыли, как бы мы сейчас ни старались всего предвидеть.

Он всегда и всюду чувствовал себя дома, и всегда старался обеспечить себе максимальный комфорт. Самое главное –

чувствовать себя всегда и всюду дома, всегда и всюду вправо, чувствовать себя сыном своего отца, чувствовать хозяином.

Он подошел ко мне сзади и что-то повесил мне на шею. «Что-то» больно ударило меня по ключичной ямке. Это был цеппелин. Маленький свинцовый цеппелин, совсем как настоящий.

– Ты помнишь Шизгару? Она привезла из Лондона.

И враз жертвой моей повышенной мозговой секреции стала хорошая девочка Шизгара с бисерными украшениями на запястьях и доброй улыбкой – я вспомнила обстоятельства нашего знакомства и не смогла удержаться от смеха. Попыталась отхлебнуть из бутылки сок, но он вдруг пошел горлом, выплеснулся и потек по подбородку.

V

Сегодня видела сон. В дверь комнаты для свиданий вошла странная монахиня, вся будто в черном сиянии, монахиня эта подвизалась, как было понятно, на поприще коммивояжера. Зашла она, стало быть, держа под мышкой маленький гробик, и, по входе, как и все коммивояжеры, быстро представилась, от какого она монастыря и зачем хочет предложить свой товар. Она ловким движением поставила гробик на ксерокопировальный аппарат и открыла покрывальце, обшитое ручным кружевом. В гробике лежала восковая старушка, сморщенная, как весенняя картофелина и весьма серьезная. Раздевая ее, как куклу, и демонстрируя разные старушкины одежды и черные ленты, вышитые золотыми нитками весьма искусно, разные крестики и ладанки, она говорила, что лучше всех вашего покойника оденут в нашем монастыре, где монахини сами плетут кружева, и все в том же духе.

После такого сна не очень хочется идти туда. Хотя ксерокопировального аппарата там нет – только маленький холодильник на том самом месте, что и во сне.

Новенькая в меня влюбилась. Бегает за мной, вчера прилегла в палату после отбоя. Днем зовет уйти в одну из картин на стене, говорит, если мы возьмемся за руки и очень захотим, то у нас все получится. Санитарка пришла – увела

ее. Оказывается, она уже не впервые здесь. Сидела, рассказывала, как они устраивали тут беспредел и голыми курили в палате.

Пришли снова. Зовут.

В комнате для свиданий – только кошка.

Я вижу их автомобиль через зарешеченное окно. Они курят. Зейберман опять взялась за свое. Мне вспомнились майские дни этого года, когда я отучала ее курить, и она в немерянных количествах поглощала шоколадных заек в фиолетовой фольге. А она отучала меня щелкать суставами больших пальцев. Били друг друга по рукам. С размаху, без предупреждения. У нее вылетала сигарета, у меня от ее ударов вылетали суставы.

Сегодня Лерка в пацанской серой кепочке, из-под которой выпустила набок челку. Старательно направляет дым в сторону – челка закрывает левый глаз, Лерка дует в сторону правого, трубочкой складывая губы.

Бросила сигарету. Заходит внутрь.

Появляется в дверях.

Следом входит Женя с большим бумажным пакетом в руках. Как-то изменился. Подстригся, что ли.

Они принесли коньяк в бутылке из-под колы и шоколад. Аспирант просит меня раздобыть стаканы. Стаканы недозволено держать. Уходит просить у санитарок железные кружки.

– Он со всеми найдет общий язык, – Лерка вынимает

свертки из пакета. – Возьми мою пижаму, лучше, чем эта рвань. Я понимаю, казенное, но до такой степени... В джинсах вам не разрешают ходить?

Я качаю головой:

– Пока нет. Потом будут выпускать на прогулки.

– Хорошо, возьми тогда, положи у себя.

Через пять минут появляются кружки. Мне как-то не по себе. Кажется, запах – по всей комнате. Хорошо, что кроме нас никого нет.

– Ну что, написала что-нибудь?

– Что-то есть. Только у меня почерк неразборчивый. Сейчас схожу. Подожди, от меня, наверное, коньяком несет.

– На вот, шоколадку еще. Женька разберется. Одежду захвати сразу в палату.

Рассказываю им о своей поклоннице. Лерка ржет, аспирант покачивает головой и кривит рот – мол, так оно и бывает, когда бабы привязываются.

– Завтра не приедем – Женька работает полный день.

– В аспирантуре?

– В УВД, биологом.

– На кафедре предложили недавно, в ЭКЦ открыли лабораторию биологических анализов – позвонили к нам в университет. По моей основной теме, здесь, конечно, ничего

нет, но хоть какая-то зарплата.

– Интересно?

– Не то слово! Соседнее подразделение занимается идентификацией неопознанных трупов. Методом фотосовмещения, по черепу. В одной комнате с ними сидим. Все черепами завалено – столы, шкафы. Обстановочка та еще.

Мы с Леркой переглянулись. Совсем недавно такая же обстановочка была у меня дома. Весь стол завален черепами грызунов. Я пишу курсовую. Точнее, мой препода по зоологии позвоночных пишет диссертацию. Он пишет по грызунам, я – по совам. *Asio otus Linnaeus*. В интересующем его районе кто-то нашел совиное гнездо на чердаке и собрал погадки. В этих слипшихся комках шерсти – кости всех съеденных совой птичек и зверюшек. Я сижу и разбираю погадки. Шерсть и мелкие кости выбрасываю, черепа собираю. В основном грызуны. Три птички во всех погадках. Грызунов определяю по черепу – грызуны-то и нужны для диссертации (особенно препода обрадовала желтогорлая мышь), а сова никому не нужна. Про сову я пишу курсовую. Зимнее питание ушастой совы. Черепа потом храню в коробке из-под леденцов.

Они уходят. Обещают поговорить с врачом. Может, хотя бы раз со мной встретится.

VI

Раздался стук в дверь, Ольховский, выглядывая из-за плюшевой занавеси, вежливо справился о личности визитера.

Визитером оказался Энди.

– Кольчепа разве не с тобой?

– Заехал кое-куда, сейчас будет.

Энди выше меня, светловолосый, красивый, сильный. Мне всегда было приятно с ним общаться. Он здорово играл на губной гармошке, был коротко стрижен и всегда элегантен. Если Ольховский, без сомнения, принадлежал к либидозному типу юношей, то Энди являл собой картину прямо противоположную, то бишь, с виду был юношей креативным и во всех смыслах положительным. Но это если издали, а если приблизиться, то насквозь был пропитан запахом спермы, неотделимым, впрочем, от запаха мускуса и амбры его одеколонов.

Я мало о нем знала – только то, что Энди учился на кинофакультете и занимался всем по чуть-чуть на реках Вавилонских – продюсировал панк-группы и замышлял какие-то дела с казачьими полковниками в черных кителях с крестами – все это его предприятие называлось «Магдебургская брама». Одна из его групп недавно записала альбом под названием «Fuck totum».

Сегодня он был в клетчатых бежевых брюках и светлой футболке. Ольховский тоже успел натянуть водолазку к его приходу.

– Андрюша, ты хоть как-то пытался повлиять на девушку? Уговорил to rearrange her mind?

– Что конюшню запираешь, когда лошадей украли? Хочет – пусть едет.

Он поднял мой рюкзак, примерил, улыбнулся мне и сказал: «Хорошо!»

Затем передал Ольховскому длинный список питерских квартир и телефонных номеров (Коломиец, Фил – общежитие химиков – заглянула я в список), и у меня снова возникло радостное предвкушение поездки в неизвестность. В нижнюю часть списка были внесены имена тех, кому следовало передать привет – все эти женщины, покровительствующие питерским музыкантам, какая-то матрона, украсившая свой автомобиль портретом Фиделя, которая в течение двух ночей была любовницей Энди, и с которой он впервые попробовал кокаин.

Они общались, я сидела тихо, стараясь не нарушать той братской гармонии, которая существовала в их общении. Сейчас мы должны были ехать к матери Шизгары в Ворзель. Смысл этого пассажа мне был не совсем ясен. Затем мы втроем принялись обсуждать маршрут.

– А как сейчас с переходом границы, не лучше ли будет пересечь одну границу, чем две?

До того, как я заинтересовалась этим, у них даже не появилось подобной мысли, они схватились за нее и бурно принялись обсуждать все варианты предстоящего путешествия. Неловко обращаясь с картой, они путали красные и черные линии, не ориентировались в пространстве. Поэтому я только поглядывала и в их разговоры больше не вмешивалась. Они решили, что следовало бы поначалу узнать, как предпочитают ездить водители, через Харьков или через Белоруссию. В конце концов, они кое-как карандашом нарисовали маршрут.

– А что ты Шизгару с собой не взял?

– Шизгару? Да ты ее не знаешь.

– Я ее не знаю? Я знаю ее с тех пор, когда она была еще такой худенькой девочкой, с ног до головы, как горчичника-ми, облепленной комплексами. Я ее не знаю! Извините!

– Неликвидная барышня, абсолютно! – Ольховский снова обвел пальцами морщины вокруг рта.

– Что ты имеешь в виду?

– Вот что, ты думаешь, ликвиднее, «Москвич» или «Кадиллак»? Попробуй ты за неделю обналичить «Кадиллак». В отношении нее – то же самое, я даже не деньги подразумеваю.

– И стоишь ты, бедный, на площади, пальцы в бриллиантах, а сигарет себе не можешь купить?

– Ну, что-то типа того.

Ольховский продолжал собирать какие-то вещи. Поход-

ные нарды в кожаном мешочке. Черненная стальная фляга с золотыми лилиями.

Энди развлекал меня разговорами. Был у них, оказывается, еще один друг, но однажды он повел девушку в абортарий на Рейтарской, набрал там калипсола и умер от передозировки.

В дверь позвонили. Кольчепа ворвался в квартиру как ураган. И все вдруг завертелось, съехало с катушек, понеслось по касательной.

Гость бегал по квартире и искал какой-нибудь свитер. Натянув поданный Ольховским свитер на свой собственный, немного успокоился и притих у батареи.

– Блядь, мерзну все время. Пока из Москвы ехал, надавали кучу штрафов, а похуй, русские здесь не канают. Надо раскуриться.

– Принес?

– На, держи.

Ольховский берет маленький, завернутый в фольгу катышок гашиша.

Энди занимается папиросой.

Остатки Андрюша прячет в брелок – красную почтовую тумбу на золоченой цепочке. Дверца ее прикрывается так плотно, что гашиш не может выпасть.

– Шизгара привезла из Лондона.

Курим на кухне. Дым словно нарисован, как на картинах Климта.

После берем по сигарете. Пепел сбрасываем в высокую узкую баночку из-под маслин.

– Девушка у вас такая красивая.

– Девушка не для тебя, у девушки есть любимый.

– Да ну?

– Бодю помнишь?

– Это твой любимый? Эта царевна Будур со звездой во лбу?

Энди с Ольховским покатываются со смеху. Я тоже не могу удержаться. Кольчепя не смеется. Он просто согрелся. Читает майку Энди:

– Эн Ай Пи Ди...

– Эн Вай Пи Ди!

– N' why PD? – слышится мне. Я подозрительно оглядываюсь. Мне кажется, все слышат то же самое.

– Кто пи-ди? Я пи-ди? Пи-ди! Сам ты пи-ди, блядь, иди на хуй!

Все смеются. Мне смешно еще и оттого, что нас прет от набора звуков – просто какой-то птичий щebet – и все прутся. Кажется, трава начинает действовать.

– Что там в Москве? Хорошо? В Москве НЛП, Пелевин...

– В жопу Пелевина!

– ...Питсбургский гудрон...

– В жопу питсбургский гудрон, где мои ключи?

– В жопе ключи!

Теперь Кольчепя бежит по комнатам, хлопая себя по кар-

манам, переворачивает вещи, ищет ключи.

Энди тоже повис на волне бешеного гостя. Что-то объясняет Ольховскому:

– Да дышло ему по самые гланды, этому Гаркину, хуй бабушкин продать хочет, урод, а я должен париться. Приходит за полчаса до концерта в бар, козел, переходники не подходят ни хуя, и стоит, глазками хлопает из-под очков, – тон Энди очень меняется, когда вопрос касается дела, мне даже страшно становится. – Мог бы поинтересоваться, в конце концов, звезда, блядь! Ты слышал этого... Ну, этот, чувак, который на кобзе блюзы нахуяряивает? Нет, ну ты слышал, как он играет?

– Твоя задача, Эндичка, – Ольховский говорил таким голосом, будто только что сошел с облаков, – воспитать звучащий камертон, по которому все другие должны настраиваться. Так, если не ошибаюсь, говорил тенор Козловский.

– Кто камертон, этот вонючий вшивый подлый Гаркин камертон? В рваных черевиках, типа того вокалист «Лавин Спунфул», мудачина. Ладно, если бы личность невьёбенного масштаба, Моррисон там, или Башлачев, так нет же – Гаркин, сука!

– Да вы уже заебали мертвецам косы заплетать! В жопу Моррисона! В жопу Башлачева! – Кольчепа прилетел и снова сел под батареей. – Нормальный пацан Гаркин.

– А где ты его видел?

– Да тут и видел.

– Он сюда часто заходит, с регулярностью патронажной сестры.

Нить рассуждений ускользала. Мне захотелось спрятаться где-то. Я ушла в гостиную и уселась в кресло. Кошка была где-то здесь, но я ее не видела. Я закрыла глаза, и мне показалось, что я умираю. Что-то прошуршало рядом. Меня поцеловал шимпанзе, после чего включил граммофон, и я улетила. Откуда-то сверху я видела себя, танцующего пуделя и шимпанзе.

Зашел Ольховский. Снял водолазку. Его тело затрещало и заискрилось статическими разрядами.

– Сейчас переодеваюсь и выходим. Все нормально?

Я вроде бы пришла в себя. Сидела и рассматривала книгу и ольховские безделушки. В наше время девушки стали совершенно простыми, как дикарки с островов: чтобы их привлекать и удерживать подле себя некоторое время, что составляло основное занятие Ольховского, необходимо дома иметь россыпи дешевых безделушек, картинок, колечек, бисерных игрушек и цеппелинов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.